

# МИМОЛЕТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

**Я ЗАСТАЛ ЕГО ТОГДА, КОГДА С НИМ ПОЧТИ НЕ ОБЩАЛИСЬ. ОН ЖИЛ В ЛЕНИНГРАДЕ, ИЗРЕДКА БЫВАЛ В ДОМЕ ПИСАТЕЛЕЙ, ТО ЕСТЬ ЗАХОДИЛ, НО КАК-ТО УКРАДКОЙ, ИЗБЕГАЯ ЛЮДЕЙ; С НИМ ЗДОРОВАЛИСЬ И С ОЗАБОЧЕННЫМ ВИДОМ СПЕШИЛИ МИМО. СЛОВНО ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ВИНОВАТЫМИ. НЕКОТОРЫЕ СТОРОНИЛИСЬ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. У КАЖДОГО ИМЕЛИСЬ СВОИ ОПАСЕНИЯ. Я ЖЕ ИСПЫТЫВАЛ ЧУВСТВО ВИНЫ. ПОТОМ, КОГДА МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ, ОН С ПРИСУЩЕЙ ЕМУ ДЕЛИКАТНОСТЬЮ СТАРАЛОСЬ СНЯТЬ ЭТО ЧУВСТВО. НО ОНО ВСЕ РАВНО ОСТАВАЛОСЬ. ДО СИХ ПОР ОНО ПРЕБЫВАЕТ У МЕНЯ СРЕДИ ПРОЧИХ ГРЕХОВ И УГРЫЗЕНИЙ, ЧТО НАКОПИЛИСЬ ЗА ГОДЫ НАШЕЙ ПУТАНОЙ ЖИЗНИ.**

**М**ожет, из-за этой виноватости я продолжал разыскивать стенограмму одного выступления Зощенко, и вот, спустя много лет, раздобыв ее, могу написать о том собрании в 1954 году.

Я уже был членом Союза писателей, но впервые пришел на общее писательское собрание. Как-то оно называлось: навстречу чему-то или о подготовке к чему-то... Этого запомнить невозможно, хотя собрание в тот июньский жаркий день запечатлелось, казалось, в малейших деталях, как след в бетонной плите.

Доклад и прения и все прочее были увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы К. Симонов и А. Первенцев. До этого в газетах заклеили поведение Зощенко перед иностранцами, разумеется, буржуазными сыновьями, бранили, не стесняясь в выражениях. Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употреблял о нем Жданов в своем докладе.

Итак, был июнь 1954 года. Год с небольшим назад умер Сталин, терминология оставалась прежней, монумены Вождя стояли незыблемо, в лагерях продолжали сидеть многие тысячи отлученных от жизни. Все сказанное корифеем оставалось священным. Он покоился в Мавзолее рядом с Лениным в полной сохранности на веки веков. История только готовилась к прыжку. Что-то, конечно, сдвинулось, подобралось, воздух потеплел, где-то подспудно зажурчало, показались проталины. Неведомо как, только что опубликовали зренбургскую «Оттепель», но сразу же на нее накинута стража вечной мерзлоты.

Большой зал Союза был переполнен. Набились приглашенные на экзекуцию — журналисты, газетчики, публика литературных предместий, предвкушающая, возбужденная. Я с трудом протиснулся в проход и так и простоял до конца у стены.

Докладчик — В. Друзин — бубнил о том, как с каждым годом усиливается все больше и больше мощь советской литературы, увеличивается процент хороших произведений.

Зал в лад ему монотонно гудел, переговариваясь. Примолкли лишь, когда Друзин принялся раздавать нагоняи и заушины — прежде всего по «Оттепели», это полагалось ритуально, затем шли местные нарушители — предупредил Веру Панову за то, что с романом «Времена года» она «пошла не туда», Ольге Берггольц пригрозил за стихи о любви; он поучал и раздавал колотушки уверенный в своем праве на это. Как же — главный редактор журнала «Звезда», уже выпоротого, умытого, стоящего в строю примерных после знаменитого постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года.

Помню, как читал я это постановление на уличном газетном щите на Литейном. Стоял в намокшей от дождя танкистской куртке, еле разбирая печать на темном сыром листе. По солдатской привычке считал, что раз постановили, значит, нужно, зря не будут. Но уж больно яростно ругали, злобились не по размеру: «беспринципный, бессовестный хулиган» — это про Зощенко, и еще покрепче, а про Ахматову почти нецензурно... как будто в самую последнюю минуту заменили на «блудница». Принял бы и это, если бы не Жданов. Еще со времен Ленинградского

фронта все связанное со Ждановым не шло. Тогда еще запало, что призывал он, требовал, упрекал, а сам ни разу за месяцы блокады на передовой не побывал, во втором эшелоне и то его у нас в армии не видали.

Винили и Ольгу Берггольц, и Владимира Орлова, и Юрия Германа за то, что они раздували авторитет Зощенко и Ахматовой, пропагандировали их писания. Получалось, что как раз занимались этим лучшие ленинградские писатели, наиболее талантливые, что Зощенко поддерживали и Евгений Шварц, и Михаил Слонимский, и Михаил Дудин...

Прошло семь лет, и грянула эта злосчастная встреча с английскими студентами. Теперь я переживал, болел за Михаила Михайловича: на кой он ввязывается, уж ему-то это ни к чему, и так хватило с лихвой, сколько мучали, мордовали, так нет, зачем-то опять вляпался в эту историю... Примерно так же досадовали многие из знакомых мне писателей. Подождать бы, поостерегся. 1954 год был годом ожидания. Ждали перемен, теперь уже благоприятных. Пришел первым секретарем ЦК Н. С. Хрущев. Что-то происходило, какое-то потепление ощущалось. И вдруг эта новая кампания против Зощенко. Она всех насторожила, напугала. Неужто опять начинается, опять поднимут на борьбу... Кто-то паниковал — какого черта он вылез, не надо было провоцировать, что это только на руку сталинистам.

Мне припомнилось, как у нас на фронте, под Ленинградом в октябре 1941 года, мы дали из орудий несколько выстрелов по немцам и получили выток от начальства — что вы там тревожите противника, вон они какую пальбу в ответ подняли, а у нас снарядов нехватка. Сидите тихо, не провоцируйте.

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зощенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен. Это ахнуло, как взрыв, посыпалось, затрещало... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, «на руку классовому врагу». Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало «классовой борьбой в открытой форме».

Правда, его больше классовой борьбой уязвило, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

— И никому другому не аплодировали! — уличающе провозгласил он.

«Не согласен» — это, конечно, и на нас производило впечатление ошарашивающее — как так сказать, что не согласен с мнением секретаря ЦК!

Доклад Друзина, если чем и запомнился мне, то исключительно тем, что на этом собрании произошло с Зощенко. И то запомнилось потому, что мне все было в новинку. Впоследствии, кого я ни спрашивал, никто не помнил тот доклад, да и самого Друзина уже не помнят на том собрании, помнят одного Зощенко, его выступление. Я же запомнил Друзина еще и потому, что он казался мне фигурой загадочной. Большой, рыхлый, влажный, он производил впечатление значительного деятеля. Что он написал, чем прославился, какими трудами — никто не мог назвать. Я ничего не понимал — почему же в таком случае он командовал журналом «Звезда», почему

поправлял, указывал, да еще с такой величавой уверенностью? Почему слушались его?

В нужных местах зал аплодировал, в нужных — возмущался. Все двигалось слаженно. Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация «здоровая», «правильно расценивает». Чтобы не усугублять. Будет хорошо, если собрание «даст отпор». Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. Слово бы все старались для кого-то незримого. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался.

После Друзина выступали малоизвестные мне писатели и осуждали Зощенко. Говорили про него: «пособник наших врагов», «подобно буржуазным пискам», «холуйское поведение на потребу...», «потерял достоинство советского человека». Я знал, что Зощенко сидит в зале. Где-то в первых рядах. Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если б еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с какой-то холодной жестокостью.

Поднялось несколько непредусмотренных рук. Вел собрание первый секретарь Ленинградского писательской организации В. А. Кочетов. Он посоветовался с К. Симоновым и предложил: поскольку вопрос ясен, осталось заслушать товарища М. Зощенко.

Зощенко поднялся на сцену. В зале произошло движение, устраивались поудобнее, подались вперед, приготовились.

Я впервые видел Зощенко. Небольшого роста, в темном костюме, коричневатой рубашечке с черным галстуком, очень аккуратный, «справный», как определял наш старшина, напряженно-изготовленный. Узкое его смугловатое лицо привлекало какой-то старомодной мужской красотой. Деликатность и твердость, скорбность и замкнутость соединились в его облике. Не знаю, каким он был раньше, до всех этих событий, до войны и еще раньше, в годы «Серапионовых братьев», была ли в нем всегда эта холодноватая настороженность.

Рядом с Симоновым, с тяжелым рыхлым Друзиным, с грузным усатым Саяновым, со всеми, кто сидел в президиуме, он выглядел хрупким и слабым. Трибуна закрыла его тщедушную фигурку. Он вынул листки, разложил их, взялся за край трибуны. За ним следили в полном молчании, где больше было враждебного, чем сочувствия. Аудитория была достаточно подготовлена, отвергающей настрой был задан.

Зощенко оглядел лица знакомых ему годами, десятилетиями людей, жадно уставившихся на него.

— Очень трудно говорить в моем положении, — голос его оказался тонким, ломким.

Стало ясно, что бы он ни сказал, все будет не так: «неискреннее покаяние», «вынужден признать», «разоблаченный в двурушничестве» — обязательно как-то его сформулируют.

— ...Я не умею формально говорить. И на что вам мое формальное признание в ошибках?

А именно это требовалось от него. Ничего больше. Для этого и приехали «сам Симонов» и Первенцев. Пусть формально, но дело надо было закрыть. Пусть сочтут его признание недостаточным, неважно, меры приняты, можно доложить.

— ...Я буду говорить так, как я думаю, только тогда можно полностью понять, что собой представляет человек.

То, что он волновался, было правильно, это могло понравиться собранию, но откровенность, искренность, это настаивало, это могло завести слишком далеко. Говорить то, что думаешь, — этого никогда не требовалось. надо говорить то, что положено.

— Я начну с последних событий. В газете было сказано о том, что я скрыл мое истинное отношение к постановлению Центрального Комитета и не сделал никаких выводов из указаний партии. Я не скрывал моего отношения. Я написал в 1946 году товарищу Сталину, что не могу согласиться с критикой всех моих работ, не все они таковы.

Теперь он читал ровно, спокойно, без всякого выражения, бесцветным голосом. Волосы его были расчесаны на безукоризненный пробор. Чинность его и холодок можно было принять за высокомерие.

— В моем заявлении с просьбой восстановить меня в Союзе я написал, что во многом ошибался, делал оплошности, но я не согласен с тем, что я не советский писатель и никогда им не был. Это было основное обвинение и в докладе — именно о том, что я не советский писатель, — и опять повторил четко: — не могу согласиться!

— Зачем подчеркивать несогласие? — пропел ктото рядом. — Не стоит.

— Все прошлые семь лет у меня было подавленное состояние и я, главным образом, занимался переводами с финского. Было выпущено несколько книг, помимо того, я закончил книгу, начатую еще до постановления — о ленинградских партизанах...

Он перечислил рассказы, фельетоны и то, как в последний год начал работать для журналов. Происходил процесс возвращения, медленно, с трудом он оправлялся от того удара.

— Мне казалось, что я крепче и здоровее, а после семи лет, когда несколько ослабели мои нервные вожжи, я проболел несколько месяцев и ощущал чрезвычайную трудность физическую.

Кочетов усмехнулся, переглянулся с Первенцевым, это запомнилось потому, что потом имело продолжение.

— ...Все же некоторые рассказы и фельетоны мои были неплохи. По одному моему рассказу, как вам известно, был изменен режим продажи водки. Стало быть, не так уж оторваны были мои вещи от жизни, стало быть, я учитывал и принимал все указания партии, какой должна быть литература.

Во всех кабинетах еще висели портреты Сталина, его носили его имя заводы, колхозы, улицы и проспекты, на первомайской демонстрации несли изображения Ленина и Сталина. Никому и в голову не приходило, что можно как-то покуситься не то что на постановление, даже на доклад Жданова, ибо он был Соратником, ибо доклад был одобрен, положен в основу...

— Да, было немало вещей у меня в прошлом и аполитичных и безыдейных — это так. Отчасти это была дань давнему времени — двадцатым годам. Я ведь начал работать в двадцать первом году, мой рассказ «Аристократка» был напечатан в 23-м году, тридцать с лишком лет назад. Грех некоторой аполитичности, который, несомненно, в какой-то степени присутствовал, — это существенно. Но сейчас, повторю, этого нет... Сказано было еще, что я скрыл свое отношение к постановлению. В злополучный вечер с англичанами, о котором идет речь, даже слова не было сказано о постановлении. Речь шла только о докладе Жданова. Именно этот вопрос задали английские студенты: «Ваше личное отношение к докладу Жданова?» На любой вопрос я готовился ответить шуткой. Но в докладе, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми — я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю.

Голос его окреп, поднялся. Последние слова прозвучали пугающе. Тишина стала звенящей, словно всем перехватило дыхание.

Зощенко взял листок и раздельно прочитал свой ответ английским студентам, ответ, точность которого, как он сказал, можно сверить по стенограмме.

— Я не согласился с докладом потому, что не согласился с критикой моих работ, сделанных в 20—30-х годах. Я писал не о советском обществе, которое тогда только что возникало, я писал о мешанах, порожденных прошлой жизнью. Я сатирически изображал не советских людей, а мешанство, которое веками создавалось всем укладом прошлой жизни...

Всенародно он утверждал свое явное несогласие. Прямотаки вызов. Первое открытое несогласие с высшими властями, которое я услышал в своей жизни.

— ...Закончил мой ответ так: сатира — сложное дело. Мне казалось, что я писал правильно, но, может быть, я ошибался. Но так или иначе, все мое литературное дарование я полностью отдаю Совет-

скому государству, советскому народу. Я понимаю, я должен был более четко политически выразиться. Я должен был бы, вероятно, отделить доклад в целом, идейное его содержание и отношение критики к моей работе. Я не видел в моем ответе непатриотизма, ничего предосудительного... А что я мог ответить? Как я мог сказать? Анна Андреевна Ахматова сказала: «Я согласна». У нее были другие обвинения. Вероятно, на ее месте я бы так же ответил. А что я мог ответить, когда меня спрашивают, согласен ли я с тем, что я не советский писатель, что я... подонок?

Меня порадовало, с какой тактичностью он оправдал Анну Андреевну, ее все время противопоставляли ему: вот-де она вела себя достойно, как патриотка, она не заигрывала с этими прохвостами... Постановление связало их, двух замечательных писателей, лучших из тех, что были тогда в Ленинграде. Их постоянно упоминали вместе. На этом повороте пути их разошлись. Зощенко остался один, на него одного наставлены все прицелы, все мушки.

— Что я мог ответить?

Вопрос этот вдруг неотвратимо стал передо мной. И перед другими. Перед каждым. Что можно было ответить? Что?.. Соглашаться, какой может быть разговор, ведь это же не чье-то мнение, а слова Жданова, секретаря ЦК, не о себе надо думать, не о своей чести, а о том, чтобы не потакать классовому врагу, не осрамить нас перед иностранцами. У других вопрос Зощенко вызвал мучительный разлад. Только в этот момент я понял, в каком невыносимом положении очутился Зощенко, через какую черту он не мог в тот миг переступить. И сейчас не может, не в силах.

Пытался. Потому что страшно было остаться одному за той чертой, против всех, снова подвергнуться осуждению, снова пройти адские круги... Сил-то уже не было. Он спрашивал себя, нас — может, этот вопрос был провокационный, продуманная акция?

Он пробовал вовлечь нас в поиски выхода.

— ...И только дома я догадался, что должен был ответить: передо мною юная аудитория, вам двадцать лет, доклад был семь лет назад, что вы можете помнить? Кто из старших вам подсказал задать этот нетактичный вопрос? Вот как я должен был ответить!

— Нет, это не ответ! — тотчас, торжествуя, настаивая, крикнул кто-то и даже привстал, чтобы его заметили из президиума. Я видел лишь его бритый розово-жирный затылок. Загудели вразброд, громче всех те, кто решил, что он хочет увильнуть, и они поймали его на этом. Им даже не нужно было его покаяние, их охватил азарт погони: поймать, ухватить на том, что хочет вывернуться, уличить, разоблачить! Охотничий, беспощадный дух толпы, настаивающей, окружающей, торжествовал в зале. Он словно ничего этого не понимал, продолжал что-то там твердить на своем языке доверия. Он надеялся, что ему удастся перешагнуть через все условности этой гражданской казни. Теперь, когда не стало ни Жданова, ни Сталина, ему казалось, что среди своих товарищей, коллег можно добиться понимания, надо лишь найти слова, надо рассказать все, как есть, открыть свои сокровенные чувства, не может быть, чтобы его не поняли.

— ...Только через несколько дней мне пришел в голову правильный ответ: я должен был с политической точностью отделить идейное содержание доклада и резкою критику его обо мне. Но я не нашелся. Быть может, потому, что не умею политически мыслить... Я не малограмотен по политической части. Нет, я много читал, я читал почти все, что написано товарищем Лениным, я читал двенадцать томов товарища Сталина...

Перечитывая стенограмму, я вспомнил свое чувство досады за него. Не надо было оправдываться, не помогут эти двенадцать томов, не подействуют, он только усугублял, может, надо было говорить с этим залом по-другому, на языке этих крикунов, нахрапистых, наседающих на него.

— ...существует какой-то дефект моего писательского мозга: я не умею мыслить политическими формулами! Они не приходят мне сразу в голову.

Какой же это дефект, когда это особенность, отличие настоящего художника, а то, что мы умеем, научены мыслить политическими формулами, то, что нас натренировали в этом бесконечные собрания, встречи, интервью, семинары, газеты, радио, то достоинство ли это? Слишком часто перед лицом бумаги я ощущаю это как свой недуг, как тяжелый груз времени.

— ...да, это мой промах в том, что я не сразу разобрался в этом вопросе, я ответил не совсем точно, и я готов понести наказание. Я считаю, что в этом я повинен.

— Только в этом? — ехидно выпалил Друз.

Я знал, что это Друз, потому что перед этим он выступал против Веры Федоровны Пановой, поддерживал статью В. Кочетова. Что он за писатель, я не знал, ни про одну книгу не слышал, но выступал он ядовито, яростно, а вслед за ним Неручев, такой же

неведомый мне, но активный, ловкий выступатель. На трибуне большей частью появлялись известные, опытные, громкоголосые ораторы, правда, как писатели они были менее известны, но это их не беспокоило. Они были равноправные члены Союза, что Панова, что Друз и Неручев.

— ...я знаю, что означает статья, которая порочит меня такими словами, как «скрывал свои истинные убеждения...». Я знаю о затрудненных отношениях с издательствами, надменные взгляды редакторов, — здесь Зощенко оторвался от бумаги, поднял голову, посмотрел на ряды, и все увидели его. Это был тот самый человек, который много лет смещал всю страну, чьи фразы повторяли, цитировали. В самые тяжкие времена, в самые неприглядные годы он давал возможность людям передохнуть, повеселиться. На всех эстрадах читали Зощенко, хохотали до упаду. Смеясь над чужой глупостью, учились смеяться над собой. Они видели себя со стороны не так, чтобы обидно, потому что автор в общем-то сочувствовал им и печалился о них, они, то есть мы, опознавали пошлость, которую Зощенко, как никто другой, умел обозначить. Маленький человек на трибуне смотрел на нас с такой скорбью, так измученно. Господи, неужели это он годами был источником смеха, и что все здесь сидящие, и тот же Друзин и Друз, всех их он смешил, все они обязаны ему многими часами радости.

Он обвел глазами всех этих людей, голос его напрягся:

— Но все равно! В моей сложной жизни, как это для меня ни тяжело, но даже и в этом случае я не могу согласиться с тем, что я был назван так, как это было сказано в докладе.

Он словно почувствовал облегчение, и зал тоже почувствовал облегчение — и те, кто был против, и те, кто не знал, как вести себя, и те, кто втайне страдал за него.

— Вот уже восемь лет мне трудно, почти невыносимо жить с этими наименованиями, которые повисли на мне, которые так унизили мое достоинство...

И дальше он по пунктам зачитал опровержения на каждое из обвинений, предъявленных ему в докладе Жданова. Как я понял, впервые у него была возможность публично ответить. Ведь все, что происходило со времен постановления 1946 года, было безответно, на него возводили всякого рода поклепы, небывалые и не давали возможности оправдаться, его обзывали и не позволяли возразить. В глазах же людей выходило, что он отмалчивался.

— Я никогда не втирался в редакции, как мне предъявили в докладе. Я не желал лезть в руководство. Было наоборот. Кто смеет мне сказать, что это было не так? Я бежал, как черт от ладана, от всяких должностей, я умолял, чтобы меня не включали в редколлегия «Звезды».

Про рассказ «Обезьянка», из-за которого, якобы, разгорелся сыр-бор, он объяснил то, что я, например, и не представлял, во всяком случае, для нас, молодых, это было совершенное открытие.

— ...Этот рассказ был напечатан еще в 1945 году в журнале «Мурзилка» для дошкольников. Он был напечатан до неурожайного года, когда даже не могла возникнуть мысль о пасквиле. И без моего ведома был перепечатан этот рассказ. Я узнал об этом много позже. Почти фатально сложилось. Да, конечно, я никогда не вынул бы этот рассказ из серии других рассказов и не дал бы в толстый журнал. Да, в толстом журнале он мог бы выглядеть странно. У меня самого мелькнула бы мысль, что автор хотел этим сказать? Это было действительно для дошкольников написано и никакого подтекста — я клянусь! — не вложил в него.

По поводу того, что он околпачил в войну в Алма-Ате, что он трус, что не захотел помочь Советскому государству в войне:

— Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?

Михаил Леонидович Слонимский рассказывал мне, как храбро М. М. Зощенко командовал взводом в первую мировую войну, был награжден двумя георгиевскими, был отравлен газами, дослужился до штабс-капитана, был ранен, командовал батальоном, получил еще два ордена, а после революции командовал пулеметной командой в Красной Армии.

— Кто здесь может сказать, что я из Ленинграда бежал? Товарищи знают: я работал в радиокomitee, в газете, я начинал вместе с Евгением Шварцем антифашистское обозрение «Под липами Берлина», это обозрение шло во время осады. Они находятся сейчас здесь, в Ленинграде, они живы: Акимов, который ставил спектакли, Шварц, с которым мы писали. Это происходило в августе — сентябре 1941 года. Весь город был оклеен тогда афишами и карикатурами на Гитлера... Я не хотел уезжать из Ленинграда, но мне предложили...

Насчет упреков в отъезде из Ленинграда, много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над «Блокадной книгой», нам

с документами и цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября месяца 1941 года провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаде в Ленинграде, поэтому так много погибло. Не упрекать надо было, а хвалить тех, кто уехал вовремя. Между тем, создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным. Пагубная эта ложнопатриотическая идея бытовала еще долго после войны. Миллионы ленинградцев, которые погибли от голода и обстрела, словно не могли никого переубедить. Вот и для обвинения Зоценко Жданов использовал тот же прием — бежал из Ленинграда! Исползовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать очевидную уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настоящему организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады замкнулось, лишь в конце января 1942 года, когда голодная смерть косила вовсю.

— ...Я не был никогда непатриотом своей страны. Не могу согласиться с этим. Не могу! Вы здесь, мои товарищи, на ваших глазах прошла моя писательская жизнь. Вы же все знаете меня, знаете много лет, знаете, как я жил, как работал, что вы хотите от меня? Чтобы я признался, что я трус? Вы этого требуете? По-вашему, я должен признаться в том, что я мещанин и пошляк, что у меня низкая душонка? Что я бессовестный хулиган?

Что-то изменилось в состоянии зала. Трибуна поднялась, нависла над рядами. Оказалось вдруг, что Зоценко не обороняется, не просит снисхождения, он наступал. Один против всей организации с ее секретарями правления, секциями, главными редакторами. Против кочетовых и друзинных, которые были не сами по себе, а представляли власть, небогосильные силы аппарата, прессы, радио... Его пригласили на трибуну, чтобы публично склонил голову и покаялся. Никому в голову не приходило, что он осмелится восстать. Тем более ныне, низверженный, растоптанный, кажется, уж чего более перетерпевший, доведенный до полного уничтожения. Сил-то у него никаких не должно было оставаться, ни сил, ни духа.

— Этого требуете вы? Вы! — крик его повис и сорвался.

Взгляд толкнулся в меня, в каждого. Это была тяжкая минута. Не знаю, сколько она длилась. Никто не шелохнулся, никто не встал, не крикнул: «Нет, мы не требуем этого!» Жалкое это молчание сгущалось чувством позора. И общего позора и личного. Головы никто не смел опустить. Сидели замерев. Зоценко ждал с какой-то отчаянной, безумной надеждой, потом произнес прыгающим голосом:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирику должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... Я думал, что это забудется. Это не забылось. И через несколько лет мне зададут тот же вопрос. Не только враги. И читатели. Значит, это так и будет, не забылось.

Он медленно сложил листки, сунул в карман. Обвел еще раз одним долгим прощальным взглядом этот зал с богатой лепниной, где резвились пухлые гипсовые купидоны, где радужно сияла огромная хрустальная люстра.

— У меня нет ничего в дальнейшем, — ровно и холодно произнес он. — Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, — он посмотрел на президиум, — ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше, чем устал. Я люблю любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Он вышел из деревянной пасти трибуны, он стал словно бы еще меньше ростом, бледно-желтое лицо его было наглухо замкнуто, но сквозь захлопнутые ставни словно пробивался непонятный свет.

Спускался, словно уходил от нас в небытие. Не раздавленный, отнюдь, он сказал то, что хотел. Отныне это будет существовать.

Оказалось, все эти годы проработок, анафем, отлучения ничего с ним сделать не смогли, и как только ему предоставили слово, он отстоял свою честь. Впервые кто-то осмелился выступить против одного из Верных Учеников Продолжателя. Еще не было XX съезда. И слово каждого из них не подлежало сомнению!

...Это была победа. Ясно было, что она дорого обойдется ему. Но цена его не занимала. Его уже ничто не останавливало, впечатление было такое, словно он отплывал куда-то — невесомый, легкий, все привязи, скрепы рухнули, и нечем было остановить его. Те, кто только что угрожал ему изгнанием, смотрели ему вслед с неясным еще предчувствием великой потери...

Раздались аплодисменты. Хлопали два человека в разных концах зала. Аплодисменты были, в сущности, неуместны, можно сказать, нелепы, но все поняли, что в них была поддержка, сочувствие, какой-то протест.

Одного из аплодирующих я увидел, это был писатель Меттер.

Поднялся Кочетов, всмотрелся в зал — кто это позволяет себе, — предупреждая покачал головой. Потом он перешел к Симоновым. Надо было сбить впечатление от речи Зоценко. Друзин сидел, изображая как бы горделивую усмешку. Как будто его позабавил выпад Зоценко, даже польстил ему, как будто получалось, что он, В. П. Друзин, был главным противником, главным обличителем... На самом деле, для Зоценко он был символом посредственного, если не сказать бездарного, руководителя.

Сколько этих друзинных, напыщенных, вельможных неведомыми путями пробралось на редакторские, издательские должности: руководили, указывали, проводили линию, учили нас. Не вспомнить уже фамилий их, когда-то шумных и грозных.

Впрочем, Друзин, этот ортодоксальный, унылый гонитель всякой «крамолы», именно всякой, какую укажут, какую нынче следует, такую и будет выводить, так вот, этот Друзин имел свой секрет. Приоткрылся этот секрет мне случайно. Год спустя после того собрания, с Зоценко, случилось мне ехать в Карелию на съезд писателей. Достался мне билет в одном купе с В. М. Саяновым и В. П. Друзинным. Саянов, человек компанейский, прихватил с собой выпивку, раздобыли кой-какую закуску, и после нескольких чоксов Саянов стал читать стихи. Сперва свои, потом чужие. Память у Саянова была редкостная. Читал со вкусом, но самое удивительное было, как он завел на стихи Друзина, и тот тоже принялся читать, да как, куда подевалась его гнусавость, читал звучно, артистично. Завязался турнир, кто кого: они читали Михаила Кузмина, Бенедикта Лившица, Вячеслава Иванова, Цветаеву, Гиппиус, Надсона, Белого, — поэтов отвергнутых, запрещенных в ту пору, вовсе мне неведомых. Читали упоенно, без усталости, я забрался на полку и заснул, сморенный... А днем, в Петрозаводске, на писательском съезде, этот же В. П. Друзин выступал и уныло крошил молодого поэта Марата Т. за формализм, модернизм и прочие грехи.

Фразу «не надо мне вашего Друзина» запомнили крепко. Спустя десятилетия я пытался опрашивать писателей, свидетелей того давнего летнего собрания. Как водится, никто ничего не записал. Воспоминания были смутны, обрывочны. Восстановить по ним текст выступления М. М. Зоценко было невозможно. Но что любопытно — все повторяли мне: «Не надо мне вашего Друзина!» Запомнили дословно эту заключительную фразу.

Первым взял слово Кочетов. Он тоже старался усмехаться.

— Мы не будем преувеличивать значения того выступления, которое вы выслушали от товарища Зоценко. Не будем преувеличивать всей этой истории, такие истории происходят на паперти церкви. Это было кликушеством, и меня удивляет, кто аплодировал ему, что за люди.

И паперть и кликушество было грубо, но все равно не действовало, люди медленно оправлялись от пережитого, не слушая его, завздыхали, задвигались, зашептались.

— Это была изворотливая речь... — настаивал Кочетов. — Почти весь Союз писателей возмущался после того, как произошло высказывание Зоценко перед студентами, большинство увидело здесь страшный антипатриотический поступок!

Он говорил убежденно. Он не понимал, почему зал не принимает его слов. Только что «Правда» опубликовала его разгромную статью о романе Веры Пановой «Времена года», его должны были бояться, тон его обрел металлическую звонкость, он был щитом и одновременно мечом разящим. Его действительно боялись, но с этого и началось его расхождение с писательской общественностью, которое кончилось тем, что его провалили на перевыборах правления. Он был уверен, что на него ополчились за его идейную непримиримость, за то, что он борется с «гнилой интеллигенцией». Впрочем, он особо не переживал, мнение массы его мало интересовало, в глазах же начальства он пребывал жертвой, пострадал, отставив основы.

Его убежденность меня всегда озадачивала. Приспособленцем, во всяком случае, считать его нельзя. И то, что он сказал дальше, было тоже его искреннее убеждение. Почему вы все придаете такое значение выступлению Зоценко и самому Зоценко? Кто такой Зоценко, чего мы носимся с ним? — таков был смысл его слов. Но они соскальзывали, никого не задевая, даже не возмущая, люди еще находились под сильным впечатлением речи Зоценко и другого волнения не воспринимали. И так и этак пытался он пробить безучастность зала, не мог и тогда рубанул, ожесточаясь:

— Зоценко — это единица, это явление мимолетное!

Ну, был такой, сочинял рассказы на потеху неповским обывателям, стоит ли о нем жалеть. Что

у нас, мало идущих в ногу? Это только враги раздувают из него фигуру.

Но и это не подвешивало. Встрепенулись только, когда объявили Константина Симонова. Столичному представителю полагалось выступать в конце, заключать, кого надо подправить, все привести в соответствие с установками, известными лично ему. Выступление Симонова ждали, приехал не просто один из секретарей Союза, а К. М. Симонов, который мог совершать независимые действия, похерить то, что тут наговорили друзины и все остальные, и мнения местных инстанций могли разбиться о его несогласие. На его пиджаке горели ряды орденских планок, на другой стороне лауреатские значки. Тогда было принято носить их. Любимец маршалов и генералов, наш брат-фронтовик. Я смотрел на него с надеждой. С Кочетовым все было ясно, но Симонов-то был настоящим писателем, любимым поэт нашей окопной военной жизни. Он был красив, молодцеват, кавказски чернели его маленькие усики. Совсем иная судьба, чем у Зоценко, досталась ему, но объединяла их талантливость, я тогда свято верил в братство талантливых людей, их так мало, так им трудно в одиночку, как же им не защищать друг друга.

Держался он мягко, просто, пожурил снисходительно — что же вы тут, бедолаги-ленинградцы, опять натворили, хочешь не хочешь — приходится порядок наводить.

— ...советский писатель, принятый заново в Союз писателей, говорит о том, что понял ошибки, и нате вам, апеллирует к буржуазным ценкам. Срывет у них аплодисменты.

Я понимал, это всего лишь вступление, так сказать, обязательная передовица, никуда от нее не уйдешь, но дальше-то, дальше он выйдет на справедливость, которая наконец прояснилась.

— Незачем, конечно, делать из этого историю, — как бы поддержал он Кочетова, и тут же поднял палец.

И поморщился.

Затем строго постучал по трибуне, предупреждая о непреходящем значении постановления насчет «Звезды» и «Ленинграда», оно действует, никаких перемен не будет, и дискуссий на эту тему тоже. Что касается вопроса, который здесь поставил товарищ Зоценко, то почему ж на него не ответить, зачем же обходить острый вопрос. Надо работой снимать то, что ты литературный подонок, только работой можно избавиться...

— Мы же недавно напечатали в «Новом мире» его партизанские рассказы, поверили товарищу Зоценко и напечатали. Что же изображать из себя жертву Советской власти? Как вам не стыдно.

Немецкий поэт Стефан Херmlin впоследствии рассказал мне:

— То было еще при Сталине, кажется, в последний год его жизни, у нас с Симоновым зашла речь о Зоценко, и Симонов твердо сказал мне: «Пока я редактор «Нового мира», я буду печатать Зоценко, я не дам его в обиду». Помню, как меня поразила храбрость его высказывания.

У Симонова это бывало: держался, держался и в самый последний момент скинул, не выдерживал давления, а давление на него, конечно, было огромное.

Первую любовь не забываешь, первое разочарование тоже. Не раз потом встречаясь с Симоновым, я убеждался, что благородного, порядочного в нем было куда больше, чем слабостей. Но долго его присутствие при нашем общении свернутое каламчиком, упрятанное вглубь воспоминание о том собрании. Спросить его напрямую не хватало духу. Да и что он мог ответить? Легко судить тем, кто сидел в сторонке, ни за что не отвечал, домашние чистюли, которые сами ничего не отстояли, не участвовали, не избирались, не выступали. ...В те годы деятельность мешала блюсти душевную гигиену.

Однажды при мне К. Симонову обратились студенты Ленинградского пединститута с просьбой выступить у них. Он отказался. Как-то излишне сердито отказался. Они удивились — в чем дело, почему? Он пояснил, что это к ним не относится. Вообще не хочет выступать: «Врать не хочу, — запинаясь, сказал он, — а говорить, что думаю, не могу. Вот так». Признание это в какой-то мере приоткрыло тяжкий труд его совести, и что-то я понял, далеко не все, но понял хотя бы, почему прощая ему так много.

Мне казалось, что это только я, новобранец, так болезненно воспринял это собрание, так глубоко засело оно у меня в памяти. Немало ведь смертельных проработок происходило и в прежние годы в этом же зале. Изничтожали формалистов, космополитов, сторонников Марра, Веселовского, еще каких-то деятелей, отлучали, поносили за преклоне-

# МИМОЛЕТНОЕ ЯВЛЕНИЕ

*Окончание.*

*Начало на стр. 9.*

ние, за связь с «ленинградским делом»... Однако то собрание с Зощенко потрясло и бывалых, все выдавших ленинградских писателей.

На сцене стоял большой портрет М. М. Зощенко, под портретом корзины цветов. Я открывал торжественное заседание, посвященное его юбилею, и речь у меня не получалась, мешало воспоминание. На вечере выступали Валентин Катаев, Сергей Антонов, Леонид Рахманов, рассказывали о давних молодых проделках «Серапионовых братьев», о вещах веселых, трогательных. Это был тот же зал ленинградского Дома писателей. Наверху, под потолком, резвились гипсовые амурчики такие же пухлые, кудрявые, нестареющие. Зал был битком набит, стояли вдоль стен, толпились в дверях.

Никого из тех, кто проводил то собрание, не было уже в живых. Почему так бывает, думал я, что когда приходит время, устыдиться уже некому и спросить не с кого...

Из выступлений получалось, что те известные события доконали М. М. Зощенко и в последние годы он был сломлен, раздавлен. Я пытался показать, что это было не совсем так. Попробовал процитировать его выступление. И тут я обнаружил, что текст, который, казалось, навсегда врезался в память, исчез, неразличимо расплылся, осталось впечатление.

После юбилея я обратился в архив, в один, в другой. Стенограммы выступления Зощенко нигде не было. Числилась, но не было. Она была изъята. Когда, кем — неизвестно. Очевидно, кому-то документ показался настолько возмутительным или опасным, что и в архивах не следовало его держать. Копии нигде обнаружить тоже не удалось. Сколько я ни спрашивал у писателей — как водится, никто не записал. Понимали, что произошло нечто исключительное, историческое и не записали по российской нашей беспечности.

Однажды, сам не знаю почему, я рассказал знакомой стенографистке, что тщетно много лет разыскиваю такую-то стенограмму. Моя знакомая пожалела плечами, вряд ли, не положено ведь оставлять себе копии, особенно в те годы это строго соблюдалось. На том кончился наш разговор. Через месяца два она позвонила мне, попросила приехать. Когда я приехал, ничего не объясняя, она протянула мне пачку машинописных листов. Это была та самая стенограмма выступления Михаила Михайловича. Откуда? Каким образом? От стенографистки, которая работала на том заседании. Удалось ее разыскать. Стенографистки хорошо знают друг друга.

К стенограмме была приложена записка: «Извините, что запись эта местами приблизительна, я тогда сильно волновалась, и слезы мешали». Подписи не было. И моя знакомая ничего больше рассказывать о ней не стала, да и я не стал допытываться. Я пытался представить неизвестную мне женщину, которая тогда на сцене сбоку, за маленьким столиком работала, не имея возможности отвлечься, посмотреть на Зощенко, на зал, вникнуть в происходящее. И, однако, лучше многих из нас поняла, что Зощенко не мимолетное явление, что речь его не должна пропасть, сняла себе копию, сохраняла ее все эти годы...